

Мария ВЕРСТАКОВА

СТРАШНЫЕ НЕСКАЗКИ МИЛЫ БОРН

Мила Борн. Голодный остров. Сборник рассказов. – М.: Стеклограф, 2020. – 104

с.

В книге Милы Борн восемь рассказов. Сюжеты можно назвать страшными несказками. Героев объединяют всеобщее несчастье, неумение любить, ноябрьская слякоть, незащищенность, безнадега, убожество быта. В этом аду проступают черты позднесоветского и постсоветского пространства, и страшно от того, насколько узнаваемы улицы, типажи, системы отношений. Будь в этих рассказах доля мистики, тогда было бы не так страшно, менее «про нас».

На читателя вываливается гора житейских неурядиц – студенческая беременность, самоубийства, изведение родных, малодушие, пьянство, предательство, нищета духа и затягивающая серость провинции. Трезвыми асфальтово-земляными красками написан мир, где в любой момент могут кинуть, не выполнить обещаний, забрать деньги, надежду, жизнь. И никто не защитит, даже самые близкие.

Вот пара студентов («Горькое молоко»), нарождающаяся молодая семья, сняли квартиру, ехали через весь город, еле отыскивали нужный дом – и оказались на несколько часов перед закрытой дверью, без информации и без вариантов ночлега:

«...позвонили в дверь. Им не открыли. Толик застыл от растерянности. Занервничал, поставил сумку на пол и стал барабанить в дверь кулаком.

– Вот бабка сволочь! – сказал он сквозь зубы и со всей силы пнул запертую дверь ногой. – Деньги взяла. Сказала, тут откроют. А тут никого.

Толик сел на ступеньку и подпер голову обеими руками. Стал что-то прикидывать. Она села рядом. Толик посмотрел на нее.

– Что будем теперь делать?

Она пожала плечами.

– Подождем. Может, просто опаздывают?»

В мирах Милы Борн люди не умеют жить. Они тыкаются в привычные схемы – детский сад, учеба, работа. Но это не спасает от огромной тоски, которую невозможно ни отделить от жизни, ни назвать, потому что ничего для тех людей не знакомо, кроме этой тягостной горечи.

«Ночью Толик смотрел, как она спит. ...И ему начинало казаться, что это уже не она, а какая-то другая, новая, совершенно отдельная от него, незнакомая женщина, которая давно нашла нужный ответ на вопрос, что же будет дальше, но ему не рассказывает. А ведь он тоже хотел знать. Больше всего хотел, лишь бы освободиться от тупой и ноющей неопределенности, от своей слепоты».

В этом мире ребенок – это приговор, диагноз и приглашение предать тех, для кого ты единственная опора. Не я такой, жизнь такая, мог бы сказать этот Толик:

«Автобус надо было опять ждать. Он достал сигарету, закурил. Представил свой долгий путь в сторону леса – к безликой домине, в которой ждала его она, а внутри нее – мучительный вопрос, как же им быть дальше. И вдруг он ясно понял, что никакой это не вопрос. И отвечать на него не надо. Потому что это не вопрос вовсе, а утверждение. Это приговор, как диагноз неизлечимой болезни, которую хладнокровно сообщил ему врач. И ничего уже не будет дальше. Все уже случилось. И он больше не выбирает, потому что сам себе не принадлежит. <...> Ему стало отвратительно и гадко. Он вспомнил раздавленных блох на своей простыне. Докурил, бросил бычок под ноги, утопил в растоптанной жиже грязно-молочного снега. Встал и, позабыв свою ношу, налегке зашагал к метро».

В этом мире горячо молятся о смерти тех близких, кому достается чуть больше любви

– как в рассказе «Голодный остров»:

«В моменты, когда <брат>, любуясь отцовым подарком, доставал бережно компас из кармана, клал его на ладонь и подолгу смотрел, как магнитная стрелочка, подрагивая, совершает свой таинственный поворот, Арсений умирал от отчаяния. Ему хотелось, чтобы Борис заболел, и его положили в больницу. Или чтобы он вообще умер от какой-нибудь неизлечимой болезни. А компас остался бы и был отдан ему, младшему брату. Арсений никогда не признавался в своем тайном желании. Но оно день за днем разрасталось в нем все сильнее, заполняя его душу настолько, что, казалось, ничего другого в ней больше и не осталось».

И когда желание сбудется, ничто не переменит в душе Арсения. В решающий момент самое важное для героя «Голодного острова» – не попытаться спасти брата, а лишь избежать огласки:

«Черная вода колыхалась, еще не придя в себя, будто от сильного удара. В ней плавали серые осколки льда. Но кроме них не было больше ничего. Сначала Арсений закричал от страха. Но потом вдруг подумал, что на берегу его могут услышать. Прибегут взрослые, потащат его на берег. И так все в поселке узнают, что они с братом самовольно пошли на Голодный. Он перестал кричать, осторожно отполз от полыньи, попытался встать на ноги, встал, а потом побежал по двум парам уже протоптанных ими следов».

Злодеев в этом грустном, бесприютном мире жалко не меньше, чем жертв, поскольку жертвы в рассказах Милы Борн – все. Все, кроме Фомы из рассказа «Пятница». Его никак не получится назвать жертвой.

Только послушник Фома, совсем еще мальчик, представляется единственным положительным и героическим персонажем. Он при любом внешнем давлении продолжает делать то, во что верит и что считает правильным. Такое мощное в этом рассказе торжество жизни, что виделось бы логичным поставить его в конце сборника. Но у автора, видимо, нет замысла тестить читателей добрыми финалами. Хватит с нас и одного, и не акцентированного тем, что он венчает собой всю книгу.

«Пятница» – рассказ замечательный, многоплановый. Убедительно описан церковный быт, узнаваемы священники. А происходящее на монастырской овчарне захватывает не хуже триллера. Вряд ли читатель раньше сталкивался с таким остросюжетным описанием появления на свет ягненка:

«Белая тоже встала, подалась своим телом вперед, стала искать ласки у Фомы. Пошла к нему навстречу, раскачивая свое разбухшее брюхо. Но вдруг остановилась, как от удара и, заваливаясь на бок, поволоклась в дальний пустой угол. Замерла там. Неожиданно заблеяла, расставив ноги и задрожав своим тяжким от плода телом. Другие овцы стали подходить к белой и от любопытства тянуть ее запах своими взволнованными ноздрями.

Фома запричитал:

– Господи, помилуй! Это что же? Это уже пора?

Он заметался, путаясь в полах подрясника. Хотел помолиться. Но все слова перепутались и никак не хотели складываться в смысл. Тогда он бросил молиться и побежал отгонять отару от белой. Она, дрожа от стремительно прибывающей, незнакомой ей боли, повела в сторону Фомы испуганный взгляд».

Описания так натуралистичны, что нет сомнений в достоверности происходящего. Конечно, и в этом рассказе нет пряничных домиков или борьбы хорошего с лучшим. Мы по-прежнему в ледяном, жестоком мире, показанном Милой Борн. Здесь священники продают божье имя, и даже у обитателей монастыря нет веры во что-либо, кроме мелкой сиюминутной выгоды:

«Фома поднял голову и встретился взглядом с Лешкой.

– Не надо мне ваших денег.

– Так ты идейный, что ли? Жить хочешь, как птица небесная? Отринув презренный металл? – враз обозлился Лешка.

На переезде на все лады загудели машины, ставшие позади “Москвича”.

- Побойся бога, сын мой! – снова загудел отец Анатолий и опять обернулся к Фоме.
- А я не бога, я вас боюсь, – спокойно сказал Фома отцу Анатолию.
- Это почему?
- Да потому, что вы богом закрываетесь, а сами непотребное вершите.

Отец Анатолий охнул, закрыл лицо руками и запричитал:

- Господи! Прости ему! Не ведает, что творит! Не ведает...

Сзади отчаянно жали на клаксоны. Лешка выбросил вперед руку, дотянулся до камилавки Фомы и со всей силы дернул на себя.

- Как? Как ты сказал, щенок?

Фома, крепко прижав к себе одной рукой банку с молоком, другой стал защищаться. Лешка ударил кулаком Фому в грудь.

- А ну, выметайся из моей машины, тварь ты божья! Вот ведь тварь!»

Три рассказа из сборника – «Бабочка», «Карандаши» и «Когда они приехали с моря» – написаны как бы с точки зрения ребенка, по крайней мере, главные персонажи именно дети. Рассказы лишены букварной назидательности. Справедливость и здравый смысл не торжествуют, зло не наказано. Плачущие не утешены, одиноких никто не обнял. Навык коммуникации не налажен, поскольку взрослые и сами не умеют говорить нужное и передавать экзистенциальный опыт бережно.

В рассказе «Бабочка» первая встреча ребенка со смертью живого существа обернулась первым острым разочарованием. В итоге мальчик, столкнувшийся с ложью и равнодушием взрослых, плачет не только по мертвой бабочке, но и от собственного одиночества:

«Бабочка по-прежнему лежала в траве. Она больше не трепыхалась. Ее красивые крылья были сложены вместе. И наполовину разорванное крыло покоилось теперь на другом, прекрасном и целом, будто бы прятало свою рану, свое уродство за тем, что еще позволяло считать ее бабочкой.

Он подумал с отчаянием, что учительница оказалась совсем не права. Ведь другие бабочки не нашли эту, раненую, смятую. Не унесли спасать в свой тайный, невидимый мир насекомых. А есть ли он вообще, этот мир? Или учительница просто врет? И каждый – сам за себя... От такой горькой и бессильной мысли мальчик заплакал. Он вообще-то делал это редко. Все-таки почти год он ходил в первый класс и считал себя вполне взрослым человеком. А взрослые – они же не плачут.

В этот момент мать, ушедшая совсем далеко, вдруг обернулась и сердито окликнула его. Он наспех размазал непрошеные слезы по лицу. Наступил с размаху на желто-лимонный лоскуток, впечатав его в землю так, чтобы никто больше не увидел и не узнал, что бабочка все-таки умерла».

Еще один недетский рассказ о детях – «Карандаши». Живо воспроизведена атмосфера советского детсада, где нет ничего про уважение и нежность, но есть уже так много про ненависть и принуждение. Малыши, еще не умеющие выразить свои чувства и желания, так полагающиеся на всесильных взрослых, совершенно беспомощны и унижены перед системой уравнивания и принуждения в лице воспитательницы:

«...Раиса Петровна перешла на визг.

- Сядьте, идиоты, сядьте! Прекратите орать!

И, придавливая ладонью детские головы, пошла по рядам.

- Рисуйте, я сказала! Немедленно рисуйте!

Очередь дошла до Верочки. Она сделала шаг назад и отклонила голову.

- Я не буду рисовать!

Раиса Петровна сжала зубы и угрожающе наклонилась над ней:

- Это еще почему?

– Потому что, – едва сдерживаясь, повторила Верочка, – карандаши, которые вы мне дали, чужие. А чужими я рисовать не буду!

Верочка зарыдала. Мальчик Смирнов снова плюнул на пол. И тут пружина, едва сдерживавшаяся в Раисе Петровне, наконец разжалась. Она выбросила вперед крепкую руку,

ухватила за шиворот Верочку и волоком вытащила из-за стола.

– Ах ты дрянь! Дрянь упрямая! – замотала она своими складками. – Что ж ты делаешь! Что ж ты мешаешь другим рисовать!

В тихий час дети улеглись еле-еле. Верочку так и оставили запертой в кладовке. Она молча сидела там, привалившись к большому матерчатому мешку с черной, расплывшейся от многочисленных стирок печати с номером детского сада. А Раиса Петровна, обхватив руками свою толстую шею, сидела весь тихий час спиной к детям и не шевелилась».

Есть, однако, в мирах Милы Борн и справедливость, и воздаяние, хоть и щедро приправленные горечью. Рассказ «Дура» – о трагизме жизни провинции. Счастье здесь возможно – правда, только у других, да и то относительное, своеобразное. Через десятилетия честолюбивых мечтаний героям рассказа становится понятно, что высшая роскошь – не богатство, престижная внешность, бойкость-смышленость или переезд в столицу, а рождение и воспитание ребенка, жизнь в своем доме и добывание хлеба ежедневным тяжелым трудом. Но и такое благословение дается не всем, да и в любом случае судьба возьмет свой непомерный налог.

В начале описываемых в рассказе событий школьники издевались над слабой одноклассницей, и в том, что произошло дальше, можно усмотреть элемент мистики. Однако автор не навязывает своего видения работающих в этой вселенной законов и оставляет нам возможность иметь собственное мнение, прокляла ли злых детей мать «дебилки», или они сами чисто случайно накликали свои последующие беды.

Другой ракурс для описания бесчеловечной машины, перемалывающей все живое в унылую серость – рассказ «Импровизация». Героиня – 12-летняя ученица музыкальной школы в провинциальном городе:

«Такая унылая, серая жизнь не приносила никакой радости. В ней не было ни мечты, ни надежды. И Анечка потела в ней в своих шерстяных рейтузах, не надеясь уже ни на что лучшее».

Но лучшее случилось – ее отправили заниматься к приехавшему столичному композитору. Много счастья и вдохновения удалось Анечке испытать. Однако законы несчастья в мирах Милы Борн, как мы уже поняли, неумолимы, и любая яркая, необычная личность будет в нем убита или раздавлена. Как в предыдущих рассказах бабочка с надломанным крылом или забеременевшая студентка-отличница. Все окажутся перемолоты и здесь. Вскоре композитор, уволенный из школы по оговору, совсем перестал быть похож на столичного франта и любимца муз:

«Он радостно ей кивнул. На нем было незнакомое ей серое пальто – небрежное, наполовину расстегнутое. Волосы – в беспорядке, короче обычного. Его мотало из стороны в сторону. И, несмотря на то, что люди стояли плотно, он то и дело сваливался на кого-то. На него кричали. Толкали обратно. А он никак не мог ухватиться за поручень, ловил Анечкин взгляд и неловко улыбался».

Долго читателя не отпустят персонажи Милы Борн, много дней будет болеть за них сердце. Ищет, ищет душа, за что зацепиться, как выбраться вместе с ними к свету. И больше некуда прийти, кроме монастырского двора:

«Фома сидел на коленях в овчарне. Он тоже, как другие, молился и пел. Но в его молитве не было больше ни печали, ни слез. В ней слышалась только светлая, красивая песня – благая весть наступающего воскресенья».